

## МУЧЕНИК КОЛЫМСКОГО АДА

(В. Т. Шаламов)

*В забое, в торфянике зыбком  
Шел месяц за месяцем вслед...  
И вот объявили ошибкой  
Семнадцать украденных лет...*

*И снова сановное барство  
Его не пускает вперед,  
И снова мое государство  
Вины на себя не берет...*

(Из самиздата 60-х годов.  
Неизвестный автор)

В январе 1982 года, в Москве, в психбольнице для престарелых,<sup>31</sup> умер Варлам Шаламов, член Союза советских писателей с... какого года? В самом деле, с какого же? С 1932, когда он начал печататься в советских изданиях? С 1936, когда его очерки появляются в центральных журналах Москвы? Или с 1957, когда в "Знамени" публикуется подборка стихотворений? Или с 1961, когда выходит первый сборник его стихов?

Варлам Шаламов — автор нескольких сборников лирических стихотворений, изданных центральными издательствами СССР, и сотни "Колымских рассказов", опубликованных только на Западе, сначала разрозненно в "Новом журнале" (Нью-Йорк, 1966—1976) и в "Гранях" (Франкфурт, 1970), а затем дважды отдельной книгой в Лондонском издательстве "Overseas" (1978, 1982).<sup>32</sup> Рассказы уже переведены на английский, французский и немецкий языки.

Необычна судьба этого писателя и человека. И не тем, конечно, что был он одним из многих миллионов, прошедших через всевозможные ленинско-сталинские ГУЛаги, в том числе через Колымский ад (где, по Конквесту, каждые четыре-пять лет погибало не менее одного миллиона человек), а тем, что в ЧИСЛЕ НЕМНОГИХ, может быть, сотен, ВЫЖИЛ И СОХРАНИЛ В СЕБЕ СПОСОБНОСТЬ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, ЧТО ВИДЕЛ.

По его собственному признанию, Шаламов видел то, что "человек не должен видеть". Потому-то блюстители нравственности в СССР сначала молчаливо считали необходимым уничтожение всех, кто видел ЭТО, а затем тщательно следили, чтобы ЭТА правда не дошла до советских людей. Ведь даже у Солженицына, которому удалось прорваться в печать на гребне "хрущевского волюнтаризма", описан не такой уж страшный день Ивана Денисовича. По сравнению с пяти-шестинедельной жизнью эзика на Колыме (больше никто не выдерживал на общих работах),

долбящего мерзлую породу в шестидесятиградусный мороз, впрягающегося в тяжелые тачки с грунтом, избиваемого и подгоняемого конвоем ("развод без последнего", т. е. последнего ежедневно убивали), чье тело покрыто гноящимися язвами от цынги и пеллагры, получающего 200–300 граммов хлеба и пустую баланду, вышиваемую "через борт", обмотанного вшивыми лохмотьями и нередко потерявшего дар речи, — Иван Денисович жил тепло и сытно.

Будь проклята ты, Колыма,  
Что названа чудом планеты;  
Сойдешь поневоле с ума...  
Отсюда возврата уж нету, —

так поется в лагерной песне, сочиненной безымянным ЗЕКОВ еще в период существования Колымского края, переименованного вскоре после смерти Сталина в Магаданскую область.

Колымский край — огромная территория на севере Сибири, размером в 12 000 кв. км. (Франция, Германия и Италия вместе взятые), покрытая тундрой и мелколесной болотистой тайгой, средняя температура зимой — 38 градусов Цельсия, летом (июнь — август) + 11–12° С. Неудивительно, что даже по хвастливым данным советской энциклопедии 1954 года на этой территории было всего 26 поселков городского типа!<sup>33</sup> Именно туда и решило "самое гуманное в мире" государство отправлять заключенных, когда начались грандиозные репрессии 30-х годов. Железных дорог в Колымском крае не было и нет, поэтому поезда с заключенными шли до Владивостока, там людей перегружали на пароходы и везли до бухты Нагаево (Магадан), а оттуда этапы отправлялись пешком: кто посчастливее — на правый берег реки, где имелись мелкие предприятия и совхозы, а кому не повезло — на левый берег, в верховье Колымы и ее притоков, где дедовским способом добывалось золото и в вечной мерзлоте вручную пытались наладить добычу угля.

Варлам Шаламов родился в 1907 году и провел свое детство в Вологде, где природа, хотя и сурова, но щедра и поэтична. Из всех русских — вологжане, может быть, самые добрые и самые совестливые люди. Даже теперь, после стольких лет советской нивелировки личностей, это чувствуется. Большие светлые, близко посаженные глаза святых на русских северных иконах — это и поныне встретишь у вологодских жителей. Ну и терпеливы, конечно, как истинные северяне.

Варлам Тихонович ничего нигде не говорил о своей семье и о ранней юности. Мы знаем, что был он свидетелем обычных расстрелов и репрессий первых лет сталинской власти, но, видимо, не могли они еще тогда произвести на него решительно отвращающего от этой новой власти впечатления. Во всяком случае, выбор юридического факультета МГУ (острополитического и тогда, и сегодня) показывает скорее его

желание сотрудничать с новой властью. Три года он учится и уж, конечно, как большинство его товарищей, готовящих себя к государственной правовой деятельности, интересуется политическими событиями в стране. 1926—1929 годы проходят для Сталина в острой борьбе с настоящими его врагами, сторонниками троцкистского курса, хотя истинных приверженцев этого курса, было, может быть, совсем немного. Сталин арестовывал и осуждал за КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность) профилактически, т. е. тех, кто мог бы, по его мнению, сочувствовать троцкизму. По всей видимости, именно так и был арестован 22-летний студент Шаламов. Скорее всего, у них на факультете кто-нибудь из имевших отношение к Троцкому читал лекции, а может быть, просто студенты слишком интересовались политическими проблемами.

Так Шаламов начал свой путь по ГУЛагу в 1929 году. Он получил 5 лет за КРТД. Это был "детский" срок и "детские" репрессии. После тюрьмы, о которой много лет спустя вспоминали на Колыме, как о самом желанном для ЗЕКА месте ("Надгробное слово"), Шаламов отбывал наказание где-то на европейском севере, в геологоразведочных партиях, а после срока, вернувшись в Москву, мог даже печатать свои произведения в центральных журналах ("Огонек", "Октябрь", "Литературный современник"). Так, в 1936 году была опубликована небольшая "новелла" В. Шаламова "Три смерти доктора Аустино". Странное она производит впечатление. Если бы на обложке напечатавшего ее журнала не были обозначены неотвратимые библиографические данные: "Октябрь" № 6, 1936" — можно было бы думать, что перед нами один из Колымских рассказов:

Тюрьма. Готовится расстрел заключенных, в их числе доктор. В последний момент вдруг выясняется, что у жены начальника тюрьмы (отвратительного "худощавого зверя", с "высшим образованием", который "собственноручно избивал заключенных" и ввел "систему горячих и ледяных карцеров") начались преждевременные роды и срочно требуется врач. Сначала доктор-герой решает, что не пойдет спасать эту "раскормленную, накрашенную бабу", которая непременно родит похожего на отца "звереныша". Но затем гуманные соображения берут верх над ненавистью, и доктор идет в дом к своему врагу, спасает жену и ребенка. После чего конвойные снова ведут его на расстрел.

Рассказ в три страницы. Место и время действия не обозначены. Лишь имя героя — Аустино — и слабый намек на южную природу склоняет нас к мысли, что перед нами Испания накануне гражданской войны. Но Шаламов избегает какой-либо конкретизации. Заключенные, вместе с которыми выводят доктора Аустино на первый расстрел, вскользь названы "боевыми товарищами", а в доме начальника тюрьмы он видит "бюст Данте" и "английскую книгу". По этим деталям советские читатели тридцатых годов должны были догадаться, что перед ни-

ми — бесчеловечная и несправедливая капиталистическая тюрьма, в которой казнят борцов за свободу.

Однако главный пафос в рассказе Шаламова не идеологический (что естественно было бы ожидать для того времени), а нравственный: должен или не должен был Аустино спасти жизнь жене ненавистного ему классового врага? Шаламов уверенно отвечает: да, должен. Гуманизм, милосердие и любовь к людям должны стать выше ненависти и мести врагу. Опять же скажем: рискованная позиция для советского человека накануне 1937, да еще побывавшего ТАМ, откуда и попали в рассказ такие, например, подробности: после принятия родов доктор Аустино возвратился в тюрьму и провел свою последнюю ночь голодным, так как канцелярией тюрьмы еще накануне был "снят с питания". Эта социалистическая деталь, несомненно, попала в рассказ из личных авторских наблюдений.

Поражает стиль рассказа. Крайний лаконизм обстановки, концентрация информации в каких-то очень острых и вместе с тем будничных моментах тоже напоминает "Колымские рассказы" ("Эсперанто", "Домино", "Утка", "Аневризм аорты"). Словно между публикацией "Доктора Аустино" и появлением первых сам- и тамиздатских рассказов ("Причал ада", "Прокаженные", "По ленд-лизу" и др.) не прошло тридцати лет — и каких лет! Писатель Варлам Шаламов уже в 30-е годы нашел и тему, и стиль своего творчества. Вот только гуманистический пафос, с которого он начал в 1936, не возродился в "Колымских рассказах". Да и как ему было возродиться после того, что было видно, пройдено и пережито.

Когда начались генеральные сталинские репрессии 1937 года, Шаламов был снова арестован, просто как "повторник", и за свою прошлую, уже наказанную КРТД, получил опять пять лет и вот тогда-то и попал на Колыму.

Свой новый пятилетний срок он полностью отбыл на общих работах в шахтах и приисках Джанхары на бурении шурфов, на лесоповале, был неоднократно в бригадах "доходяг" на заготовке сучьев и хвой, иногда счастье вдруг улыбалось ему и его посылали на хлебозавод. В довоенные годы было немного легче: лучше кормили, начислялись какие-то деньги за выполнение нормы, меньше били. Но к 1941 году, после трех лет нечеловеческого труда, голода и холода сознание человека ослабевало, и ничего, кроме еды и возможности не ходить в шахту, не интересовало его.

В рассказе "Июнь" Андреев (этому герою Шаламов часто передает события своей собственной жизни) слушает известие о начале войны с тем абсолютным равнодушием, как будто это происходит в "Парагвае или Боливии". Вот это и был для Шаламова первый шаг отречения. Чужим и проклятым стало для него то государство, та система, которая пригнала людей на Колыму для бессмысленного труда и мучительной

смерти. Пусть это первое отречение было бессознательным актом голода и холода, но оно вошло в оскудевший мозг и осталось там навечно. Да и как можно было иметь какие-то патриотические иллюзии, если к моменту окончания пятилетнего срока по приговору ОСО, отбытого в глухом Аркагале, Шаламов вместо освобождения был переведен в штрафной прииск на Джелгалу как "пересидчик". Ему старались сострять еще одно дело, чтобы добавить новый срок. Стукачи усердно работали, нанятые и запугиваемые товарищи давали нужные "показания", и, наконец, по идее тогдашнего заключенного, а позже известного вольного провокатора, громившего Пастернака и многих других, Д. Заславского, Шаламов получил новые 10 лет за то, что назвал в разговоре Ивана Бунина великим русским писателем ("Мой процесс"). Это было в 1943 году. Его ждали те же страшные шахты и прииски Колымы, на которых он уже побывал, но статья оказалась другая: 58 пункт 10. По этой статье можно было, хотя и нежелательно, использовать ЗЕКА не на общих работах. Это спасло Шаламову жизнь.

Начал он свой новый десятилетний срок, работая кайлом и лопатой на далеких таежных приисках. В военное время рабочий день продолжался с подходами и проверками 16 часов в сутки, нормы были невыполнимы, за это уменьшали и без того скудные пайки. Золотой забой был неминуемой смертью, и старый опытный ЗЕК понял это, научился хитростям, избавляющим от этой судьбы ("Тифозный карантин"). Но и бригады из "доходяг" на более легких работах также в конечном счете вели к смерти. Шаламов показывает, как его герой, старый колымчанин Крист, получив направление в больницу, до которой было четыре километра, ползет туда, как зверь, на четвереньках по обледенелой дороге. Мимо идут машины, но никто не обращает внимания на ползущее в белой мгле существо. Человек перестает быть человеком в таких обстоятельствах. лишь инстинкт зверя может спасти его от смерти, и Крист становится этим бессловесным, сопящим и рычащим существом, в угасающем сознании которого работает лишь одно стремление — "к теплу". Проходят часы в этом инстинктивном движении, и вот... "мгла слегка поредела, и Крист увидел поворот к больнице... метров триста, не больше. И, снова зарывав, Крист пополз" ("В больницу").

Имея за плечами такой "опыт", человек, очевидно, не может полностью восстановить то, что мы называем нормальными социальными комплексами. Здесь отречение от ТЕХ, КТО привел к этим жутким страданиям, прошло через инстинкт и никогда не будет подавлено. Мир навсегда разделится в сознании колымского раба на тех, кого били, и тех, кто бил. Выживший чудом доходяга будет со временем лишь постигать, что те, КТО били, это не только конвой, лагерное начальство, десятники, провокаторы, прокуроры, но и инженеры, служащие, писатели, словом, любой гражданин СССР, если в его руки волею какого-то непонятого Молоха — государства вложена палка.

Сорок восемь килограммов весил мужчина, чей рост был 180 см. Температура его тела — 34, 3. Он уже не мог говорить, все забыл. Его ничто не интересовало, кроме еды и тепла. Книги казались "чужими, недружелюбными, ненужными" ("Домино").

Судьба случайно улыбнулась Шаламову: знакомый фельдшер взял его в больницу санитаром, а потом, в 1946 году, послал на фельдшерские курсы. Так он выжил, дождался смерти Сталина, и в 1956 году или чуть раньше уехал из колымского ада ("Погоня за паровозным дымом"). Но еще там, работая в больнице для заключенных, как только вернулась к нему способность чувствовать и мыслить, возвращается к Шаламову, казалось, навсегда забытая жажда творчества. Он пишет стихи о природе, которую теперь может подолгу и внимательно наблюдать. Вот стланик, который когда-то был враждебным объектом его труда в "витаминной" "доходяжной" бригаде, теперь для него живой товарищ, жаждущий тепла, он "пригибается к земле", "тычется в стынущий камень" и "заползает под снег" до весны ("Стланик"). Вот тайга — "молчальница от века", "глухонемая", не любящая людей, но все-таки способная на знаки и жесты своей "дружелюбной немоты" ("Тайга"). Вот первые приметы пугающей осени. А вот и гроза, десятки раз воспетая в русской поэзии Пушкиным, Тютчевым, Фетом, Пастернаком... Но Шаламов увидел ее в новом свете какой-то пугающей грубой силы:

Смешались облака и волны,  
И мира вывернут испод,  
По трещинам зубчатых молний  
Разламывается небосвод.

По желтой глиняной корчаге  
Гуляют грома кулаки.  
Вода спускается в овраги,  
Держась руками за пеньки.

("Стихи о Севере" — "Знамя", № 5, 1957)

Чувствуется пастернаковская остраненная наблюдательность, но виден и старый колымский эзк, знающий на собственном опыте, как ползут по оврагам избитые железными кулаками конвоиров обессиленные дохляки...

В одном из "Колымских рассказов" глухо, как обычно, Шаламов рассказывает, как его, уже ссыльного, вызвали в Магадан за письмом, и он проехал 500 километров и получил письмо от Б. Пастернака ("За письмом").<sup>34</sup> Ясно, что это был ответ на письмо самого Шаламова. Что он писал Пастернаку? Вряд ли это были житейские жалобы или материальные просьбы. Скорее всего он послал Пастернаку стихи, свои колымские стихи о тайге и снеге. Во всяком случае, очень возможно, что

Пастернак, всегда остро чувствующий какой-то комплекс вины перед теми, кто страдал ТАМ, взялся даже хлопотать о публикации этих стихов. Подборка в "Знамени" № 5 за 1957 год стихотворений Шаламова "Стихи о Севере", возможно, появилась там усилиями Б. Пастернака, который, как известно, сам печатался в этом журнале (из цикла "Стихи из романа"). Можно предполагать с большой степенью уверенности, что именно Пастернак помог В. Шаламову вернуться к литературному поприщу. Не будь этой публикации — неизвестно, нашел ли бы в себе силы старый колымчанин броситься в мутное болото Большой Зоны под вывеской ССП (Союз советских писателей).

Впрочем, тогда, в 1956—1957 годах, было время возвращений и уцелевших (Н. Заболоцкий) и мертвых (М. Цветаева). Перед уцелевшими даже почтительно теснились, выделяя кусочек места под солнцем. Потеснились и перед Шаламовым, предоставив ему несколько страниц в центральном престижном журнале. В 1961 году ему удастся издать маленькую книжку стихов "Огниво", которую похвалил в "Литературной газете" поэт-фронтовик Б. Слуцкий,<sup>35</sup> причем похвалил не столько за поэзию, сколько за мужество, явно давая понять читателю, где приобрел автор свой жизненный опыт:

Мозг не помнит, мозг не может,  
Не старается сберечь  
То, что знают мышцы, кожа,  
Память пальцев, память плеч.  
(*"Память"*)

В 1962 году Шаламов, уже несомненно член Московского отделения ССП, принимает участие в сборнике "День поэзии". Это было большой жизненной победой Шаламова, хотя по сравнению с довольно уже высокой поэтической культурой тех авангардных лет стихи Шаламова казались и неискусными, и поспешными. Поэт, очевидно, сам понимал это и предупреждал своих будущих критиков:

Тороплюсь, потому что старею.  
Нынче время меня не ждет.  
Поэтическую батарею  
Я выкатываю вперед...  
Не отводит ни дня, ни часа  
Торопящееся перо  
На словесные выкрутасы,  
Изготовленные хитро...  
(*"Прямой наводкой"*)<sup>36</sup>

Конечно, не мог не чувствовать Шаламов свою поэтическую скудость. Но было то, что спасало: твердая вера, твердое сознание, что его 20-летний опыт нечеловеческого бытия дает ему (а не им, талантливым "вольняшкам") знание настоящей жизни. Это — не споры об искусстве и демократии, не разговоры о XX съезде и хрущевских обещаниях, не противопоставление Ленина Сталину, не московская квартира и заграничная поездка, не партбилет, не престижная должность... Настоящая жизнь — это возможность прикоснуться к природе, постигать ее неповторимую гармонию и красоту, наслаждаться ее строгим и бесстрастным порядком, жить в ней, в ее ритме и воле. Это был пастернаковский путь отречения, к которому автор "Доктора Живаго" шел много лет в сомнениях и раздумьях своих интеллектуальных скитаний по векам и странам. А зэк Шаламов пришел к этому отречению через колымский ад — после всего, что он знал и видел, людские дела, казалось, навсегда перестали интересовать его. Только природа достойна поэзии, только в ней — справедливость и разум. Приняв, хотя и другим путем, пастернаковскую философию отречения, Шаламов, возможно, даже бессознательно, часто моделирует в своих стихах и пастернаковскую поэтическую систему. Во всяком случае, А. Твардовский отверг предлагаемые Солженицыным (в период, когда авторитет последнего был очень велик) стихи Шаламова как "слишком пастернаковские".<sup>37</sup>

Вообще история контактов Шаламова и Солженицына заслуживает особого внимания.

Солженицын рассказывает в "Теленке", что уже летом 1956 года он читал в "Самиздате" некоторые стихотворения Шаламова.<sup>38</sup> Возможно, это были те самые из "колымских тетрадей" ("В часы ночные, ледяные", "Как Архимед...", "Похороны"), которые Солженицын через несколько лет предложит "Новому миру". Тогда уже Солженицын понял, что автор — его "брат", "из тайных братьев", т. е. бывший зэк. Поэтому для него это были не просто стихи, менее или более удачные, "пастернаковские" или "тютчевские". Это была "горящая память сердечной боли", "кровотечение", опыт тех лагерных поэтов, которые погибли тысячами, а "выползло" оттуда "меньше пятка". Вот почему Солженицын настойчиво предлагал Твардовскому стихи и "Маленькие поэмы" ("Гомер", "Аввакум в Пустозерске"). Это была поэтическая информация о том, что совершенно недоступно "молоденьким поэтам" и о чем ДОЛЖЕН узнать читатель. Эпизод происходит в 1962 году, когда шаламовские стихи о природе печатали, но эти, самиздатские, все еще ходили по рукам (лишь много позже некоторые из них, например, "Аввакум", были напечатаны, но к этому времени русская поэзия и литература ушли уже так далеко по пути своего отречения, что неискусные аллюзии в речах мужественного старообрядца: "Наш спор не церковный // О возрасте книг. // Наш спор не духовный // О пользе вериг. //



Наш спор — о свободе, // О праве дышать, // О воле Господней // Вязать и решать” — уже не звучали столь актуально.<sup>39</sup>

И все-таки даже после неудачной попытки Солженицына Шаламов продолжает не только писать стихи, он продолжает нудные переговоры с редакциями об их публикации. И вот “Советский писатель” в 1964 году выпускает его сборник “Шелест листьев”. Нельзя сказать, что туда включаются лучшие стихи Шаламова. Но, тем не менее, некоторые образы неожиданны, необычны и уводят воображение читателя в какой-то неведомо страшный мир: таковы, например, “морозом скрюченные кисти” осеннего дерева, “переломанные человеком” “кости горных хребтов”, “почуявшая врага” в каменном ущелье река “хрипит от возмущения”. Действительно, хотя перед читателем предстали почти исключительно стихи о природе со всеми ее сложными процессами и закономерностями, он не мог не почувствовать, что автор, поэт, затаил в строках что-то еще невысказанное и вместе с тем самое главное...

В одном из последних стихотворений сборника, как бы соглашаясь с критиками о скромности своих поэтических построений, Шаламов писал:

Но, впрочем, строчки — это не вода,  
А глубоко залежная руда.  
Любой любитель, тайный рудовед,  
По этой книжке мой отыщет след...

Действительно, этот “след”, след старого колымского эка, видевшего такое, “что человек не должен видеть”, можно отыскать в лирике Шаламова, возьмем ли мы самый первый сборник его стихов “Огниво” или один из последних — “Московские облака” (1972).

Но не только лирические стихи писал Шаламов. Уже в начале 60-х годов начали ходить в самиздате его рассказы из тех же самых “колымских тетрадей”. Появились они почти одновременно с “Иваном Денисовичем”, и все мы имели возможность сопоставить их, вернее, сопоставить информацию, в них содержащуюся. Ведь для нас, читателей 1962 года, имя Солженицына было так же незнакомо, как и имя Шаламова. Мы не могли еще понять и различить художественные системы этих двух авторов — для нас существовали прежде всего потрясающие факты жизни. Вот почему “Колымские рассказы” некоторым казались интереснее, информативнее. Факты, в них содержащиеся: “мороженная человечина” в трюме парохода “Ким” (“Прокуратор Иудей”), прокаженные в должности санитаров больницы (“Прокаженные”), жуткие убийства блатными политических — все это впечатляло на первых порах сильнее, чем “УДАЧНЫЙ” день скромного Ивана Денисовича.

Сам Шаламов, прочитав повесть Солженицына, как известно из признаний самого Солженицына, написал ему довольно критическое пись-

мо и "справедливо упрекнул": "И что еще за больничный кот ходит у вас там? Почему его до сих пор не зарезали и не съели?"<sup>40</sup> Действительно, мы знаем из "Колымских рассказов", что заключенные съедали все, что попадало им в руки: кошек, собак, мышей... людей. Колымский "круг" был более глубокой по сравнению с солженицынским, "адской воронкой", через которую обреченные люди спускались в миллионные братские могилы советского "котлована" во имя "нового счастливого будущего".

Некоторые из "Колымских рассказов" можно датировать по содержащимся в них хронологическим упоминаниям. Так, самой ранней датой оказывается 1964 год ("Прокуратор Иудей", где о событиях 1947 года сказано, что они произошли 17 лет назад). По этому же принципу 1964—1965 годами можно датировать "Житие инженера Кипреева". Вообще при внимательном чтении можно выделить группы рассказов, которые: а) ходили в самиздате; б) не были напечатаны на Западе до выхода Лондонского издания и вообще по некоторой сдержанности тона производят впечатление предназначенных для советской печати. Таковы: "Прокаженные", "В приемном покое", "Ожерелье княгини Гагариной", "Необращенный", "Комбеды", "Магия". Особо в этом ряду стоят рассказы, в которых лагерная тема проходит несколько "бокком": "Академик", "Медведи", "Алмазная карта", "Визит мистера Поппа". Более ранним вариантом, переработанным потом в другие рассказы, можно считать "Потомок декабриста".

Так мы можем представить, с чего начинал Шаламов.

Самым первым и еще очень остранным его героем был Голубев. Вот он, уже немолодой журналист, осенью 1957 года идет на беседу с очень известным академиком, который когда-то поносил кибернетику, "воинствующую лженауку", а теперь небрежно диктует для популярного журнала вещиные слова о ее мировом значении. Шаламову как будто гораздо интереснее этот человеческий экземпляр (чье искусство лавировать в мутных волнах "ленинских курсов" КПСС, несомненно, превосходит его другие академические дарования), чем судьба измученного, уставшего от непривычной работы стенографиста, бывшего многообещающего журналиста с негнущейся, искалеченной на допросах рукой. Академик что-то припоминает: не вы ли тот Голубев, который в 30-е годы... Нет, я не тот, поспешно отвечает герой о самом себе. "Тот Голубев умер в тридцать восьмом году". Так проводит Шаламов грань между теми, "кого били", и теми — КТО БИЛ. Этот академик — его смертный враг. Пусть не он лично посылал людей на Колыму. Но он из ТЕХ. Никогда колымский мученик не простит ИМ их сытое жительство и благополучную карьеру. Таков закон отречения. Но рассказ все же, по-видимому, предназначался для печати — мы находим в нем только скрытые намеки на всю эту драматическую ситуацию, те самые "сле-

ды”, изучая которые можно было добраться до сути. Такой часто бывала поэтика 60-х годов.

Еще по крайней мере два рассказа ведутся от имени Голубева: ”Магия” и ”Кусок мяса”. В них трудно определить время событий: довоенного или послевоенного потока нашей мудрой партийной ”канализации”.<sup>41</sup> В центре внимания — человеческие характеры, в основном блатные и крестьяне-бытовики. Никаких авторских размышлений и обобщений. Тот же намеренно нелирический объективный взгляд все выдавшего героя мы встречаем в рассказах без рассказчика: ”В приемном покое”, ”Аневризма аорты”, ”По ленд-лизу”. Особую группу составляют бытовые зарисовки характеров в рассказах о блатном мире. По свидетельству Ю. Мальцева,<sup>42</sup> они ходили отдельной рукописью под заглавием ”Очерки блатного мира”. По-видимому, оттуда же попали в Лондонское издание ”Женщины блатного мира” и ”Сергей Есенин и воровской мир”.

Очень большая группа рассказов объединяется героем с автобиографическими чертами и со странным именем Крист. Мы можем восстановить всю его трагическую историю, начиная с ареста и тюремного следствия в 30-х годах (”Ожерелье княгини Гагариной”). Вот его первый год работы на прииске зимой 37-38 годов, где спасает его от расстрела (уничтожив ”дело”) решительный следователь, которому он помогает переписывать бумаги (”Почерк”). Вот после расстрела решительного следователя он работает откатчиком (грузит тачки с золотосодержащей породой) среди блатных, избивающих и издевающихся над ”троцкистом” (”Артист лопаты”). Вот он, став доходягой на приисках, переведен в специальную инвалидную бригаду и таскает бревна, преодолевая мороз, усилившийся голод и боль отмороженных рук и ног, и, наконец, волею бывшего начальника, ставшего заключенным, обманом все-таки попадает в больницу, ”доползает” до нее (”В больницу”). Там, еще едва передвигая ноги, он торопится стать санитаром, чтобы подольше задержаться в тепле (”Смытая фотография”). Он учится лагерной мудрости в первые военные годы и, умело обманув прибывшее в больницу для вербовки людей на прииск начальство, остается санитаром (”Облава”).

В юности Крист отличался страстным чувством ”неподчинения чужой команде, чужому мнению, чужой воле” и потому уже в 19 лет был арестован и приобщен к ”троцкистскому движению” — к фактически смертному литеру — КРТД. Вот он работает в угольной шахте, грузит вагонетки, изредка, вопреки ”спецуказанию”, ему удается поработать на лебедке. Из шахты его увозят в спецзону в связи с окончанием срока и дают новый срок на штрафном прииске (”Лида”). Однажды судьба улыбнулась ему, и он попал на фельдшерские курсы, кончил их и стал даже заведовать приемным покоем огромной лагерной больницы (”Телологи”). Но кончился его третий по счету десятилетний лагерный срок,

а освобождения с литером КРД быть не могло, и вот больничная секретарша, печатая документы, по просьбе Криста пропустила одну букву ("Т") в его справке об освобождении — КРД ("Лида"). Крист после 20-ти лет своего обреченного существования получил советский паспорт: "Читайте! Завидуйте!"

Те же самые этапы жизненной судьбы прослеживаются у героя, носящего фамилию Андреев и чаще всего выступающего рассказчиком (от "Я"). Те же самые факты, которые бегло упомянуты в рассказах "Лида", "Геологи", "Ожерелье княгини Гагариной" или в не вошедших в лондонское издание, но напечатанных в "Новом журнале" коротких этюдах: "Экзамен", "Город на горе", подробно и с рассуждениями (явно исключаящими возможность публикации в советских изданиях) повторены в рассказах "Заговор юристов", "Курсы", "Мой процесс", причем в последнем, началом от имени Андреева, приводится в конце документ, выданный лагерным врачом заключенному Шаламову. Несомненно, перед нами более поздние рассказы, когда писатель уже в полный голос, припоминая многие информативные подробности, повествует о колымском аде.

События и характеры повторяются, хотя и варьируются, в двух рассказах: "Потомок декабриста" и "Инженер Киселев". В первом внимание сосредоточено на подлой и вместе с тем размашисто смелой (в лагерных пределах, конечно!) личности недоучившегося Сергея Михайловича Лунина, потомка известной русской дворянской фамилии, чей предок, М. С. Лунин, умер в сибирской тюрьме. С. М. Лунин помог Андрееву избежать неминуемой смерти, руководствуясь не человеколюбием или жалостью, а просто желанием иметь собеседника из "москвичей". Во втором рассказе об этих же событиях повествуется более кратко, автор сосредоточен на изображении личности вольнонаемного инженера Киселева, истязавшего заключенных, а о Луние-Куние сказано вскользь, зато события сопровождаются рассуждениями автора о самой сущности лагерной цивилизации в СССР, рассуждениями, которые никогда не могли быть напечатаны в советской прессе: "Лагерный опыт — целиком отрицательный, до единой минуты. Человек становится только хуже... Я знаю многих интеллигентов, да и не только интеллигентов, которые именно блатные границы сделали тайными границами своего поведения на воле... В лагере не было политических. Это были воображаемые выдуманные враги, с которыми государство рассчитывалось, как с врагами подлинными — расстреливало, убивало, морило голодом. Сталинская коса смерти косила всех без различия, равняя на развертку, на списки, на выполнение плана. Среди погибших в лагере был такой же процент негодяев и трусов, сколько и на воле. Все были люди случайные, случайно превратившиеся в жертву из равнодушных, из трусов, из обывателей, даже из палачей. Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и де-

вяносто девять процентов людей этой пробы не выдерживали” (“Инженер Киселев”).

Подобные жесткие и бескомпромиссные рассуждения о том, что именно лагерная психология была господствующей среди всех граждан СССР в сталинские годы и ничего не могла она воспитать в людях, кроме ненависти и трусости, совсем не согласуются с впечатлениями тонко наблюдательной Ф. Вигдоровой, читавшей “Колымские рассказы” в самиздате в середине 60-х годов. Она увидела в них веру в “честь, добро, человеческое достоинство”, несмотря на самые горькие и беспощадные факты (Письмо Ф. Вигдоровой ходило в самиздате и было, возможно, одной из рецензий, которые представлял В. Шаламов в издательство “Советский писатель”, пытаясь издать свою книгу). Думается, что Ф. Вигдорова знала лишь более раннюю, менее категоричную в рассуждениях редакцию “Колымских рассказов”.

Действительно, В. Шаламов создавал свои рассказы в 1964—67 годах в надежде увидеть их напечатанными, возможно, даже и в смягченных цензурой вариантах. В “Новом русском слове” были напечатаны короткие воспоминания Майи Муравник о редакционном эпизоде в Москве, имевшем место, очевидно, где-то в начале 70-х годов. По ее словам, Варлам Тихонович Шаламов, выпустивший несколько сборников стихов в “Советском писателе”, принес однажды в поэтическую редакцию огромную рукопись. Это были “Колымские рассказы”. “Т-три го-года в п-прозе\* в-валялись, — взволнованно говорил он автору воспомина-ний. — Пятнадцать п-положительных р-рецензий. А все-таки в-вернули. Не п-под с-силу им т-такое п-печатать!”<sup>43</sup>

Хотя автор воспоминаний, к сожалению, не сообщает даты эпизода, ясно, что он не мог иметь места раньше 1970. (“Три года провалялись”, и около трех лет Шаламов работал над рассказами, выпуская в это время поэтические сборники). Однако к 1970 году первые публикации Шаламовских рассказов уже появились на Западе.

В “Новом журнале” № 85 уже в 1966 году были напечатаны четыре рассказа, причем от редакции сообщалось, что рукопись получена “с оказией из СССР”, т. е. из самиздата, и что рассказы печатаются “без ведома автора”. При сопоставлении теперь текстов рассказов, напечатанных в “Новом журнале” до 1970 года,<sup>44</sup> с вышедшими почти через 10 лет в лондонском издательстве в отдельной книге (1978, Overseas, также “без ведома автора”), становится очевидным, что в течение этого десятилетия автор исправлял и дорабатывал тексты. Иногда Шаламов снимал эпиграфы (“Шерри-бренди”), исправлял фразы или отдельные слова, но чаще всего он добавлял рассуждения, обычно исторического характера: о Древнем Риме (“Сентенция”), о Павле I (“Сухим пайком”) или о характере поэтического творчества (“Шерри-бренди”).

\* Очевидно, в отделе прозы.

В 1970 году большую подборку "Колымских рассказов" (15) напечатал журнал "Грани"<sup>45</sup> также, как сообщала редакция, "без разрешения автора". Эти тексты, по сравнению с теми же самыми в лондонском издании, содержат лишь незначительные отклонения. Изменено, правда, заглавие одного рассказа. Вместо "Менделиста" в "Гранях", в отдельном издании — "Вейсманист" (с соответствующей поправкой в тексте). Очевидно, Шаламов нашел нужным употребить именно этот сталинский одиозный термин из триады "менделист-морганист-вейсманист".

В 1971—72 годах продолжается публикация "Колымских рассказов" в "Новом журнале" (свыше 30) с тем же редакционным замечанием "без ведома автора". Факт публикации рассказов на Западе, некоторое время, очевидно, не замечаемый соответствующими органами в СССР, в 1972 году, по чьему-то приказу разумеется, вдруг получает огласку. В этом году вообще началась борьба именно с тамиздатом, и многих писателей стали вызывать и вопрошать о том, каким путем их произведения попадали на Запад (отголоски этих фактов оказались в "Литературной газете" от 29 ноября 1972 года, когда Б. Окуджава и А. Гладилин уведомляли читателей о "возмущении" "наглой провокацией" "белоземгрантской прессы", печатавшей их произведения без санкций авторов).

В. Шаламову в соответствующих инстанциях предъявили обвинение в связях с тамиздатом еще раньше. Уже в начале 1972 года он имел неприятные объяснения и вынужден был в "Литературной газете" от 23 февраля дать отречение от тамиздатовских публикаций. И Шаламов делает это удивительно неумело, грубо и лицемерно. Он не только отвергает акт своего сотрудничества с "Посевом" и "Новым журналом", но клеймит их надоевшими привычными сталинскими словами: "омерзительная" "змеиная практика", "зловонный листок", "белогвардейский журнальчик" и т. п. Кроме того, Шаламов уверяет читателей в своей лояльности, в любви к народу, в правоте партии и XX съезда и даже сожалеет, что "по инвалидности" не может принимать участия "в общественной деятельности". Но самое ужасное в его чрезмерном отречении — это признание ненужности своих рассказов, так как их "проблематика" "давно снята жизнью". Можно представить, как горько было Шаламову выговорить такие слова (или подписать их?), как, впрочем, горько было нам прочитать их. Мы знаем, как заставляют произносить и писать подобное, мы не бросим в эка с 20-летним стажем ни камешка, но отречение было напечатано и стало историческим фактом. Как, должно быть, тяжело было Шаламову сознавать это. Ведь он как раз считал необходимым донести до людей свой страшный опыт, называя его "единственным в своем роде феноменом нелитературной литературы" (воспоминания М. Муравник).

Ценой этого отречения от самого важного дела своей жизни Шаламов "купил" право на публикацию в журналах своих стихов, без которых

ему, как мы понимаем, нечем было духовно жить. Но, увы! нравственный компромисс не прибавляет человеку таланта. В 4-ом номере "Юности" (1972), сразу после отречения от "Колымских рассказов", напечатал Шаламов стихотворение "Асуан", и с грустью увидел читатель, как скромное, но все же находившее свои краски и образы перо Шаламова-поэта превратилось вдруг в официозную авторучку для очередного партийного мероприятия:

Пускай зарыт Коран  
В подножье Асуана —  
Для мира Асуан  
Важнее сур Корана.  
Важнее пирамид,  
Важнее Тадж-Махала  
Его бетон, гранит  
И свет его накала...

Здесь будущего свет,  
Эмблема дружбы наций,  
Здесь Нил и сам — поэт,  
Поэт мелиораций...

Так музы наказывают за предательство. Мы, современники, знающие, что такое 17 лет Колымы, можем простить поэту, но поэзия мстит за отречение от правды творческим бессилием.

После отречения Шаламов продолжал несколько лет изредка появляться на страницах "Юности". В 1976 году была едва ли не последняя подборка его стихов о Ялте. Поэт как бы оправдывается в одном из них:

Прочь ворох старых писем.  
Их шорох — гром,  
Где ряд необходимых истин  
Добыт с трудом.

Прочь эти детские забавы —  
Род шелухи,  
Отвергнуть их имею право,  
Но не стихи.<sup>46</sup>

Снова Шаламов пытается бежать в поэзию, как в единственное убежище от старого пережитого ужаса. Но ведь в это время в Европе уже шла подготовка отдельного издания "Колымских рассказов", и Шаламов, конечно, знал об этом. Тексты многих оказались в этом издании ис-

исправленными, хотя композиция (распределение на три части по непонятному принципу) вряд ли принадлежит автору. Появились в составе лондонского издания многие лучшие рассказы, которые не были напечатаны ни в "Гранях", ни в "Новом журнале" ("Первая смерть", "Тифозный карантин", "Красный крест", "Июнь", "Май", "Курсы" и др.), которые представляют собой либо переработанные варианты опубликованных ранее, либо новые рассуждения о психологии заключенных и надзирателей и вообще рассуждения о природе лагерей, о возможности выжить, о единой нравственности в лагерях и на "воле". Появились сопоставления с книгой Достоевского "Записки из Мертвого дома" и документальные материалы ("Инжектор"). Автор явно работал над своей книгой даже после того, как вынужден был публично от нее отречься. Личность самого автора становилась все яснее и яснее, и уже подлинная фамилия "Шаламов" фигурирует в некоторых эпизодах ("Мой процесс").

Несомненно Шаламов знал о готовящемся издании. В одном из стихотворений ялтинского цикла он неожиданно говорит о себе, смотрящем в ялтинское небо:

Бывали горы и покруче,  
Но — опытнейший скалолаз —  
Я не спускал с нависшей тучи  
Усталых, воспаленных глаз.<sup>47</sup>

Книга издана. Плохо ли, хорошо ли, с соблюдением авторской композиции или нет — возможно, выяснится позже. Сейчас мы радуемся, что Варлам Шаламов дожил до ее выхода, а значит, и победил и отрекся, нет, не от своей книги (то была минутная слабость, понятная, по его же интерпретации — воспитанная сталинской эпохой трусость), отрекся от настоящих врагов своего народа, от самозванных вершителей его судьбы, растлителей, реальных и моральных убийц, не случайно, а по системе уничтожавших людей. Он, Шаламов, отрекся от палачей, написав и издав книгу, неоспоримо показывающую ложь всяческих оправданий типа "незаконные сталинские репрессии", "жертвы культа личности" и т. п. Все было вполне в соответствии с законами, репрессии были не сталинские, а всеобщие, хотя жертвы и палачи могли меняться местами. И (самое главное) не личность, а система породила колымский ад и все другие, подобные ему ГУЛаги. В стране создалась психология, когда выжить стало возможным только ценой большего или меньшего предательства себе подобных.

Шаламов нигде не сделал и намека на возможное духовное возрождение народа. Религиозные темы проходят очень вскользь и, по-видимому, мало занимают автора. Никаких других путей восстановления чело-



веческого достоинства, растоптанного советским государством, Шаламов не видит.

“В лагерной обстановке люди никогда не остаются людьми, лагеря не для этого созданы”, — утверждает Шаламов. По его интерпретации, у человека в лагере и после лагеря остается “только злоба, самое долговечное человеческое чувство”. А. Солженицын полемизирует с этими безнадежными пессимистическими выводами Шаламова. Да, конечно, ГУЛаг несет человеческой душе “растление”, но всякую ли душу растлевает? Не происходит ли там одновременно и “восхождение” человека, его возвращение к истинным ценностям, к правде и Богу? Солженицын верил в это и считал эту веру залогом духовного возрождения русского народа.<sup>48</sup>

Трагический и мрачный портрет Шаламова рисует Г. Свирский: “Человек с неподвижным лицом. Сухой и какой-то замороженный. Словно черное дерево, а не человек... словно... из вечной мерзлоты, в которой заledenел, да так и не оттаял еще...” Подстать этому облику были, по мнению Свирского, и “Колымские рассказы”: “Человек, по твердому убеждению Варлама Шаламова, хуже зверя, беспощаднее зверя, страшнее зверя”.<sup>49</sup>

С единственной доступной нам фотографии (воспроизведена в сборнике “Шелест листьев”, 1964) смотрит на мир застывшее в недоброй гримасе настороженное лицо... Да, по-видимому, так и “не оттаяла” эта исстрадавшаяся одинокая душа. Стихи и природа стали для нее единственным согревающим прибежищем. Что ж, и это путь. Один из рецензентов Шаламова, несомненно добрый человек Дм. Ольгин, даже после публикации грубого и компрометирующего отречения Шаламова в “Литературной газете”, нашел возможным сказать несколько теплых слов о стихах Шаламова. Оказывается, одно из его стихотворений он твердил в своей памяти много лет, шагая по “сумрачным осенним бульварам” столицы:

Я северянин. Я ценю тепло.  
Я различаю — где добро, где зло.  
Мне нужен мир, где всюду есть дома,  
Где белым снегом вымыта зима.  
Мне нужен клен с опавшею листвою  
И крыша над моею головой.<sup>50</sup>

Вот и все, чем жив человек. Этот простой идеал, последовательно проводимый Шаламовым во всей его поэзии, есть пастернаковский путь отречения от официального советского идеала — служения своему государству. Шаламов принял его и передал, как видим, определенному кругу читателей. Но он вступил и на другой путь — солженицынский и написал мужественную, правдивую и бескомпромиссную книгу о совет-

ском государственном беззаконии. Может быть, теперь, после ее полного выхода по-русски и по-английски на Западе, наконец, устыдятся называть гулаговскую действительность "романтическим воображением", как сказал мне когда-то один "носорог" — весьма известный математик из Калифорнии.

Варлам Шаламов умер.

Мучительно и одиноко провел он последние годы. Печать старого колымчанина не сошла с него. У него не было семьи, не было близких. К жутким воспоминаниям, которые, как говорят, преследуют по ночам всех бывших зэков, к физическим страданиям от многих недугов, несомненно, прибавились и нравственные мучения из-за того, что не выдержал и отрекся от Книги своей жизни. Но мы не будем судить Шаламова за эту фальшивую ноту. Напротив, в истории русской антисоветской литературы мы поставим "Колымские рассказы" как выдающийся факт и важнейший этап, свидетельствующий об ОТРЕЧЕНИИ их автора от самой сути бесчеловеческого шигалевского государства.

Варлам Шаламов отверг это государство полностью, со всей его идеологией, психологией и моралью. Можно только с болью сочувствовать, что нравственно убитый колымским адом, он не нашел в себе сил ни для такого духовного возрождения.